

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

ХАБУРГАЕВ Г. А.

«СРЕДНИЙ ШТИЛЬ» М. В. ЛОМОНОСОВА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Теории «трех штилей» посвящена обширная литература, в которой она, кажется, должна была бы получить разностороннюю оценку. Во второй половине XVIII в., в трудах непосредственных преемников М. В. Ломоносова, именно теория «трех штилей» оказалась в центре внимания и была канонизирована как жесткая рекомендация, закрепляющая различные слои лексики за определенными литературными жанрами, что позднее было расценено исследователями как своего рода тормоз в поступательном развитии языка художественной литературы предпушкинского периода. Лишь в 30-х годах нашего столетия была предпринята попытка взглянуть на теорию М. В. Ломоносова с позиций предшествующего состояния языка русской книжности, которая позволила В. В. Виноградову определить ее как «великую грамматическую реформу», внесшую «порядок в ту пестроту внешних форм — русских и церковнославянских, которая была особенно характерна для стилей литературного языка конца XVII — первой трети XVIII в.» [1, с. 100].

Спустя 20 лет после обоснования реформаторской сущности теории «трех штилей», в докладе «Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка», подготовленном к IV Международному съезду славистов (1958 г.), В. В. Виноградов, ссылаясь на опубликованные незадолго до этого материалы о списке «Риторики» 1620 г. [см. 2], включил рекомендации М. В. Ломоносова в общий процесс трихотомического членения речевых произведений, характерного для позднего средневековья, заявив, что «книжно-славянский и народно-литературный типы русского языка в их стилевых вариациях ко второй половине XVI — к началу XVII в. образуют три стилевых потока, три „рода глаголений“, или три стили литературного языка» [3, с. 140, разрядка наша. — Х. Г.]; теория же «трех штилей» М. В. Ломоносова в середине XVIII в. «лишь закрепляла то, что определилось в результате предшествующего развития стилей художественной литературы» [3, с. 204]¹. Эта идея, повторенная в последующих публикациях (вплоть до программной статьи 1969 г. [см. 3, с. 286—287]), с середины 60-х годов получила широкое распространение не только в работах, посвященных историко-стилистической проблематике (которая, собственно, и волновала В. В. Виноградова), но и в специальных (сугубо лингвистических) исследованиях и пособиях по истории русского литературного языка. В конечном счете оформилось нечто вроде общего убеждения в том, что глава «О трех родах глаголения» риторики, популярной с начала XVII в., «содержит учение о трех стилях литературной речи, их языковых средствах и жанрах литературы», свидетельствуя «о том, что в русском литературном языке второй половины XVI—XVII в. ясно обозначаются контуры системы трех стилей и лексико-грамматические различия между ними» [5; разрядка наша. — Х. Г.]; ср. (без упоминания

¹ Ту же мысль в лекциях 1949—1951 гг. (опубликованных спустя четверть века) излагал и Б. А. Ларин: «На самом деле Ломоносов не совершил никакого открытия, ибо теория трех „штилей“ в славянском литературном языке была создана еще в XVII в.» [4; разрядка наша. — Х. Г.].

об исторически невероятном «русском литературном языке» XVI в.): «Мы знаем, что теория деления языка на „три рода глаголанья“ излагалась уже в русской риторике 1620 г.» [6, с. 197].

С сожалением приходится констатировать, что все цитированные утверждения в плане процесса формирования норм национального русского литературного языка не соответствуют действительности, а главное — не соответствуют сущности тех нормативно-языковых рекомендаций, которые получили отражение в так называемой теории «трех штилей» М. В. Ломоносова, не имеющей ничего общего с «тремя родами глаголанья» компилятивной риторики позднего средневековья, кроме естественного (вполне традиционного) совпадения самого числа «три». Особенно важно при этом заметить, что «три рода глаголанья» не дают ключа к пониманию сущности оставшегося для исследователей «неопределенным» ломоносовского среднего «штиля», который невозможно соотнести со средним («мерным» или «посредственным») родом позднесредневековых руководств по красноречию. В этом нетрудно убедиться, вчитавшись в текст риторики и сопоставив ее содержание с языковой ситуацией, характеризовавшей Россию в XVII столетии и преодолеваемой в первой половине XVIII в. — вплоть до программных филологических трудов М. В. Ломоносова, в которых «теория трех штилей» занимает отнюдь не центральное место.

Термин *глаголанье* в позднесредневековой риторике не имеет никакого отношения к понятию стиля литературной речи и вообще не связан с категорией литературного языка. *Глаголанье* («говорение») — это «речевая деятельность», т. е. то, что в системе лингвистических понятий Ф. де Соссюра обозначено термином *langage*, а в современных построениях трактуется как совокупность частных функциональных разновидностей языка как средства общения народности или нации, включающая (объединяющая) системы кодифицированного литературного языка, нормированной устной речи, просторечия и диалектов [ср. 7]. Утверждение, будто глава «О тройных родах глаголанья» является учением «о трех стилях литературной речи», а выделяемые в ней «род высокий глаголанья» соответствует «высокому штилю» в системе стилей русского литературного языка XVIII в., «род мерный» — «среднему штилю», «род смиренный» — «низкому штилю» [8, с. 28—29], опровергается всем содержанием этой главы, четко разъясняющей, что речь идет не о стилях литературного языка, а о частных функциональных системах, которые предлагается строго разграничивать в зависимости от сферы речевой деятельности.

В самом деле: по утверждению риторики XVII в., низкий, или «род смиренный» есть, который не встает надъ обычаемъ повседневнаго глаголанья², как справедливо заметил В. В. Виноградов, «это речь, которую пользуется народ в повседневной жизни» [3, с. 141]³, а не в письменно-литературной деятельности. Смысл тезиса очевиден: этот «род глаголанья» находится за пределами письменно-литературного творчества, о чем, собственно, и предупреждает риторика.

Напротив, высокий «род глаголанья» — это система книжно-литературного языка, который «имеет метафоры» и «показует украшение глагола» и от которого отграничен средний, или «мерный» («умеренный») «род глаголанья», куда отнесены «письма, грамо-

² Текст соответствующей главы риторики (с учетом разночтений, в том числе и по старейшему списку 1620 г.) опубликован в [8, с. 185] в качестве «Приложения I»; см. также [2, с. 333, 352—353].

³ Тем удивительнее предшествующая фраза того же абзаца: «Смиренный род соответствует простому слогу, или „низкому штилю“ в системе стилей русского литературного языка XVII в.» [3, с. 141; разрядка наша. — Х. Г.]. Видимо, эта последняя формулировка и «спровоцировала» последующих авторов на преобразование осторожного тезиса В. В. Виноградова о том, что в риторике 1620 г. «уже явственно выступает учение о трех стилях языка» (там же), в тезис о том, будто риторика «содержит учение о трех стилях литературного языка». «Стиль языка», соответствуя по значению «роду глаголанья», — это совсем не то, что «стиль литературного языка».

ты и глаголы Кикероновы», т. е. явно деловой язык, противопоставленный, как явствует из разъяснений риторики, книжно-литературному (в условиях XVII в. — церковнославянскому) по сфере применения, а не как стиль единого литературного языка, которого до середины XVIII в. еще не было.

Понятен в этой связи и порядок перечисления «родов глаголаная», характеризующийся четкой внутренней логикой, если учитывать, что речь идет не о стилях литературного языка: риторика начинается с ограничения обиходно-разговорной («повседневной») речи (низкого, «смирненного рода») от любых форм письменного творчества, а уже затем указывает среди этих форм сначала наиболее значимую — собственно литературную (включая, разумеется, и сакральную) речевую деятельность, характеризующуюся как «высокая» по сравнению с составлением приказно-деловой документации, находящейся, как «род глаголаная», между «высокой» (книжно-литературной) и повседневной речевой деятельностью, с которой она связана своими языковыми нормами, но от которой принципиально отличается как область письменного творчества (что и сближает ее с книжно-литературной деятельностью).

Таким образом, нет никаких оснований считать, будто разграничение сфер применения разных частных функциональных систем, рекомендуемое «популярной в XVII в.» риторикой, каким-то образом предваряет или предвосхищает (тем более — «определяет») известную по одной (!) из работ М. В. Ломоносова «теорию трех штилей», в действительности регламентировавшую нормы словоупотребления внутри разных жанров письменно-литературного творчества, опирающегося на единую систему литературного языка. При этом для понимания последующих процессов важно отметить, что рекомендации риторики полностью соответствуют реальной культурно-языковой ситуации Московской Руси, что подтверждается как ее непосредственными наблюдателями (например, Г. В. Лудольфом, обратившим внимание на несовпадение языка письменности и повседневных разговоров и указавшего на близость разговорному языку юридической практики), так и показаниями разнообразных памятников XVII в., языковые особенности которых четко противопоставляют по сферам применения книжно-славянский (церковнославянский) и вполне нормированный с середины XVI в. письменно-деловой язык, в XVII в. уже не совпадавший с обиходно-разговорной речью, хотя и ориентировавшийся в своих нормах на особенности московского просторечия [см. 9, с. 86 и далее, в частности, с. 89—90].

Можно утверждать, что «теория трех штилей» М. В. Ломоносова получила в истории отечественной филологии интерпретацию, не адекватную ее сущности, а точнее — ее «внутреннему заданию». Причину этого я вижу в том, что истолкование идей М. В. Ломоносова в плане «теории трех штилей» сложилось в среде не лингвистической, а общемонологической и прежде всего связывалось с формированием и развитием не самого литературного языка, а стилей художественной литературы. Между тем, в контексте более широкой кодификаторской деятельности М. В. Ломоносова эта «теория» появилась как своего рода лингво-стилистический «придаток», необходимый для завершения формирования системы норм нового литературного языка, ориентированного (в отличие от языка позднесредневековой культуры) на национальную речь.

Лишь после работ В. В. Виноградова, справедливо считающегося создателем истории русского литературного языка как самостоятельной историко-лингвистической дисциплины, «теория трех штилей» начинает включаться в собственно историко-языковой процесс и связываться с нормализаторскими идеями, изложенными также и в «Российской грамматике». Однако по-прежнему в центре анализа кодификаторской деятельности М. В. Ломоносова остается «Предисловие о пользе книг церковных...» с его схемой трех «штилей», после чего обычно утверждается, будто дифференциация стилей проходит через всю ломоносовскую систему норм литературного языка, включая фонетику и грамматику, хотя обра-

щение к тексту «Российской грамматики» заставляет авторов оговариваться, «что о т р е х стилях Ломоносов говорит только в „Предисловии о пользе книг церковных в российском языке“, а в „Российской грамматике“, законченной тремя годами раньше, говорится только о д в у х стилях: в ы с о к о м (который именуется также *важным штилем*) и п р о с т о м (который именуется также *простым слогом, простым русским языком, просторечием*) [6, с. 203], в связи с чем и появляются рассуждения о причинах «несомненного противоречия» между стилистическими системами «Российской грамматики» и «Предисловия...» [см. 6, с. 203—207; ср. 8, с. 175—176].

Цитированные и им подобные (ставшие «общим местом») рассуждения об универсальности «теории трех штилей» и о дихотомической (а не трихотомической) стилистической дифференциации литературного языка в «Российской грамматике» базируются на идеях, развивавшихся В. В. Виноградовым в «Очерках по истории русского литературного языка XVII—XIX вв.», где они, однако, связаны с общим интересом их автора не столько к истории становления национальной литературно-языковой нормы, сколько к процессу формирования полифункциональности, следовательно, стилистической дифференциации единого русского литературного языка, что последовательно проходит через весь этот труд крупнейшего языковеда середины XX столетия и заставляет его в первую очередь интересоваться той стороной филологической деятельности М. В. Ломоносова, которая эксплицирует его с т и л и с т и ч е с к и е воззрения. Именно поэтому в «Очерках...» сначала тщательно анализируется схема трех «штилей», развиваемая в «Предисловии...» [см. 1, с. 95—100], и лишь затем, переходя от лексико-фразеологического к иным уровням языковой структуры, автор заявляет: «Различие трех стилей не сводилось только к словарному и фразеологическому составу их. Оно было обосновано грамматически, т. е. подкреплялось фонетическими, морфологическими и синтаксическими особенностями. Разделение языка на три стиля вносило порядок в ту пестроту внешних форм — русских и церковнославянских, которая была особенно характерна для стилей литературного языка конца XVII — первой трети XVIII в. Это была великая грамматическая реформа. Но в области фонетической дифференциации стилей резко обозначились только отличия высокого слога от низкого» [1, с. 100—101], что затем и демонстрируется на фонетическом (собственно — орфоэпическом) [см. 1, с. 101—106] и морфологическом материале «Российской грамматики» [см. 1, с. 106—111]. Источник последующих формулировок здесь обнаруживается вполне очевидно.

Тщательно проанализированные еще В. В. Виноградовым, а затем воспроизводимые последующими авторами рекомендации «Российской грамматики», позволившие утверждать, что в этом основном лингвистическом труде М. В. Ломоносова выделяются лишь «два стиля» (высокий и низкий), при очень большом желании могли бы быть интерпретированы и в рамках системы трех (а не двух!) стилей, если бы не одно очень существенное обстоятельство: изредка встречающийся в «Российской грамматике» термин *стиль* («штиль»), как это по существу замечено всеми ее интерпретаторами, не имеет того значения, которое ему придается в «Предисловии. . .». Отсюда и отмеченная уже комментаторами академического издания, а затем и интерпретаторами текста «Российской грамматики» непоследовательность в употреблении самого термина «штиль» в этом важнейшем сочинении М. В. Ломоносова [см. 10, с. 898, примеч. 8], где характеризуется с и с т е м а о р ф о э п и ч е с к и х и г р а м м а т и ч е с к и х н о р м нового (национального) литературного языка, ориентированного на «обыкновенное произношение» (т. е. на нормы разговорной речи) и уже поэтому противопоставленного книжно-славянскому (церковнославянскому) языку прошлых эпох. Кодифицируя в качестве книжно-литературной нормы особенности главным образом московского узуса («обыкновенного», «обычного», «нынешнего» произношения или употребления) [ср. 11, с. 17—19, 55—56, 68 и др.], М. В. Ломоносов в отдельных случаях, сталкиваясь, с одной стороны, с очень распространенной

в среде тогдашней интеллигенции традиционной книжно-литературной чертой, а с другой стороны, с получающей более или менее широкое распространение среди ревнителей нового литературного языка разговорной по происхождению формой, делает замечания, ограничивающие возможности употребления соответствующей черты либо сферой официальной речи (или даже только официального чтения), либо сферой «обыкновенных разговоров» (просторечия), что по существу выводит такую черту за пределы литературной нормы. Так, например, в «Грамматике» нет, как обычно пишут, дифференциации смычного и фрикативного *г* как относящихся соответственно к «низкому» и «высокому» стилям, нет требования придерживаться в «низком» стиле *аканья*, а в «высоком» — *оканья*, нет рекомендации различать в «высоком» стиле *е* и *ѣ* и т. д.⁴ В «Российской грамматике» описываются (и рекомендуются) единые (по существу своему — нейтральные!) нормы литературного языка. В частности, рекомендуется смычное произношение [г] (как в Москве), но при этом учитывается, что отдельные лексемы повсеместно закрепились с фрикативным задненебным, который именно в *к р у г у э т и х л е к с е м*, по происхождению или употреблению церковнославянских (*бог, благодать, благодарю* и некот. др.), и закрепляется как нормативный. Точно так же рекомендуется московское *аканье* (как нормативное!), а по поводу «оканья» говорится лишь, что при чтении книг и в торжественных выступлениях произношение «к точному выговору *б у к в* склоняется». Вопреки получившему широкое распространение толкованию, в «Грамматике» отнюдь не «рекомендуется» различение в «высоком» стиле *е* и *ѣ*, а лишь замечено, что «в *ч т е н и и* их весьма явно слух разделяет», в то время как они «в просторечии едва имеют чувствительную разность». Иными словами, здесь учитываются не стили литературного языка, а стили речи в разных *с и т у а ц и я х* общения (ср. противопоставление «полного» и «разговорного» стилей в современной орфоэпии).

То же — в морфологии, где по поводу отдельных вариантных форм отмечается, что один из вариантов более присущ высокому слогу или, напротив, просторечию. Другое дело, что в отдельных случаях М. В. Ломоносов считает необходимым кодифицировать церковнославянские по происхождению грамматические категории и формы, отсутствующие в живой русской речи (простые формы превосходной степени, причастия, деепричастия и некот. др.), предупреждая при этом, что они неуместны от слов «низкого знаменования», не свойственных книжно-литературному языку, и «по большей части приличнее полагаются в риторических и стихотворных сочинениях, нежели в простом штиле или в просторечии». См., например, специальные разъяснения относительно причастий (в § 343): «Употребляются только в письме, а в простых разговорах должно их изображать чрез возносительные местоимения: *которой, которая, которое*. Весьма не надлежит производить причастий от тех глаголов, которые нечто подлое значат и только в простых разговорах употребительны. ибо причастия имеют в себе некоторую высокость, и для того очень пристойно их употреблять в высоком роде стихов» [10, с. 496]. Это, очень характерное для «Российской грамматики», разъяснение подчеркивает не столько «жесткую» стилстическую прикрепленность противопоставленных форм, сколько различный их генезис, видимо, достаточно хорошо ощущавшийся русской интеллигенцией в начальный период формирования системы нового литературного языка.

Еще ярче это отражено в параграфе, посвященном формообразованию деепричастий (§ 356): «... деепричастия на *-ючи* пристойнее у точных российских глаголов, нежели у тех, которые от славенских происходят; и, напротив того, деепричастия на *-я* употребительнее у славенских, нежели у российских. Например, лучше сказать *толкаячи*, нежели *толкая*, но,

⁴ Нет надобности загромождать изложение перечнем всех случаев «стилистической дифференциации» в грамматике М. В. Ломоносова: они подробно разобраны в указанных выше разделах «Очерков...» В. В. Виноградова [см. 1, с. 100—111] и воспроизводятся с большей или меньшей полнотой в исследованиях и всех учебных пособиях по истории русского литературного языка, изданных после «Очерков...».

напротив того, лучше употребить *держая*, нежели *держючи*» [10, с. 499]. И ни за каким «высоким» или «низким» стилем это не закрепляется! Более того, в цитированном выше параграфе о причастиях М. В. Ломоносов недвусмысленно рекомендует: «Которые российский язык не очень твердо знают, а притом мало или ничего славенских книг не читали и затем прямого употребления причастий понять не могут, те безопасно поступят, ежели вместо причастий глагол с возносительными писать будут». Это разъяснение не оставляет сомнений в том, что М. В. Ломоносов в «Российской грамматике» кодифицирует «нейтральные» нормы единого литературного языка, учитывая, однако, генетическую неоднородность элементов формирующейся литературно-языковой системы, которая со временем постепенно нивелирует языковые единицы, пока еще не всегда совместимые в одном стиле в силу длительной традиции их употребления в разных сферах речевой деятельности. Последнее обстоятельство и обуславливает спорадическое выделение из нейтрального употребления отдельных орфоэпических или грамматических особенностей, которые «пристойны» лишь в определенных условиях речевой деятельности — только «в письме» или только «в обыкновенных разговорах»; что же касается их дальнейшей судьбы в плане стабилизации норм литературного языка, то это «надлежит оставить общему всех учителю — повседневному употреблению» [10, с. 471].

Каким же образом в этой ситуации появляется (только в одной работе!) «теория трех стилей» и в каком смысле она может рассматриваться в качестве дальнейшего развития кодификаторских идей М. В. Ломоносова? Адекватный действительности ответ на этот вопрос возможен лишь при учете тех конкретно-исторических условий, в которых осуществлялась кодификация норм нового литературного языка.

В первой половине XVIII в. вслед за оформлением национального самосознания, закрепленного на социально-экономическом и административно-политическом уровнях петровскими реформами, эксплицируется отказ от употребления в литературном творчестве средневекового языка книжности — церковнославянского и активно обсуждаются пути кодификации норм нового, национального литературного языка, ориентированного на разговорную речь народа. Но если грамматические опыты В. Е. Адогурова и декларации В. К. Тредиаковского, отражая необходимость «становления литературного языка нового типа — языка, ориентирующегося на живую речь, а не на искусственные книжные нормы, и подчиняющегося ей в своем развитии» [11, с. 4], опирались на опыт западноевропейских народов, а потому рекомендовали полный отказ от языка средневековой книжности, то позиция М. В. Ломоносова «имела существенно более компромиссный характер и была направлена на объединение книжной и разговорной языковой стихии в границах русского литературного языка» [11, с. 5], поскольку учитывала, выражаясь современной терминологией, диалектику общего и особенного в оценке функционального статуса *славянского* (церковнославянского, книжно-славянского) языка в России, не совпадавшего с функциональным статусом латыни в эпоху национальных движений в католических странах Европы.

Отказываясь от церковнославянского как целостной языковой системы, обслуживавшей литературу на протяжении средневековья, и последовательно ориентируя нормы литературного языка нации на общерусское «обыкновенное» употребление, М. В. Ломоносов отчетливо осознавал **противопоставленность церковнославянского языка родной речи россиян на уровне замкнутых систем**, и прежде всего — в грамматике, определяющей то, что современные исследователи нередко именуют «основой» литературного языка [ср. 12], которая в новых условиях должна быть национальной, русской. В академической записке «Примечания на предложение о множественном окончании прилагательных имен», решительно возражая В. К. Тредиаковскому, М. В. Ломоносов специально подчеркивает, что «славянский язык от великороссийского ничем столько не разнится, как окончаниями речений» [10, с. 83], т. е. формами словоизменения разных

частей речи. В то время как по-славенски, разъясняет он, *богатый, старший, сыновѣмъ, дѣломъ, рѣчь, мене, пѣхомъ, кланяхуся*, по-великорусски — *богатой, старшей, сыновьямъ, дѣламъ, рѣки, меня, [мы] пили, [они] кланялись*; и именно эти, великорусские формы кодифицированы «Российской грамматикой», противопоставляющей их церковнославянским как нормативные формы нового литературного языка.

Вместе с тем М. В. Ломоносов в отличие от своих современников (да и многих нынешних историков русского языка!) хорошо понимал, что на уровне лексики ориентация исключительно на национальную разговорную речь нецелесообразна. В «обыкновенных разговорах» не используется все то лексическое богатство, которое накоплено книжно-литературным языком россиян на протяжении средневековья и которое, по его утверждению (см. посвящение, предваряющее «Российскую грамматику»), обеспечивает «в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италийского, сверх того — богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка» [10, 391]. Безоговорочный отказ от книжно-славянских лексических и словообразовательных традиций означал бы возвращение к тому состоянию, которое характеризовало славянские языки в эпоху деятельности первоучителей⁵ и которые западноевропейские языки, отказываясь от средневековой латыни, вынуждены были преодолевать при помощи заимствований. . . из той же латыни. Новому литературному языку россиян нет нужды повторять этот печальный опыт: без ущерба для своей самобытности он может с о х р а н и т ь накопленное богатство, вполне соответствующее] его структурным, в том числе и словообразовательным особенностям.

С этих разъяснений и начинается М. В. Ломоносов свой труд, посвященный проблемам с л о в а р н о й н о р м а л и з а ц и и нового литературного языка: «В древние времена, когда славенский народ не знал употребления письменно изображать свои мысли, которые тогда были тесно ограничены для (из-за.— Х. Г.) неведения многих вещей и действий, ученым народам известных, тогда и язык его не мог изобиловать таким множеством речений и выражений разума, как ныне читаем. Сие богатство больше всего приобретено купно с греческим христианским законом, когда церковные книги переведены с греческого языка на славенский для славословия божия. <...> От туду умножаем довольство р о с с и й с к о г о слова, которое и собственным своим достатком велико и к приятию греческих красот п о с р е д с т в о м с л а в е н с к о г о с р о д н о» [10, с. 587; разрядка наша.— Х. Г.]. «Сия польза наша, что мы приобрели от книг церковных богатство к сильному изображению идей важных и высоких. . .» [10, с. 590]. Эти соображения и заставляют М. В. Ломоносова подойти к нормализации лексики нового литературного языка с идеей о б ѣ д и н е н и я традиционного литературно-книжного словарного фонда с народно-разговорным словарем, что и предложено в «Предисловии о пользе книг церковных. . .», являющемся, по замыслу автора, «лексикологическим приложением» к нормативной «Российской грамматике».

М. В. Ломоносов видит три основных генетических слоя лексики, пользой в книгах и в «обыкновенных разговорах» [см. 10, с. 588—589]:

1) Слова общеславянские («славенороссийские, по происхождению преимущественно праславянские), которые «у древних славян и ныне у россиян общеупотребительны».

2) Слова собственно книжные, «кои хотя обще употребляются мало, а особливо в разговорах, однако всем грамотным людям вразумительны»;

⁵ Исследования последних лет показали, что в языке старейших славянских переводов общеславянская и собственно диалектная лексика составляют вместе около половины всего словаря, объединяя наименования явлений окружающего мира и отношений повседневного быта. Почти 50% старославянской лексики составляют гречизмы и, главное, «неологизмы» первопереводчиков, связанные с необходимостью передать значения абстрактной лексики греческих оригиналов [см. 13], т. е. тех самых «речений», которых (см. далее) не могло быть в разговорно-бытовой речи дохристианского славянского общества, как не было их и в разговорно-бытовой речи великорусов, до XVIII в. пользовавшихся в необходимых случаях церковнославянским языком.

характеристика этой лексики как «славенской» здесь отсутствует не случайно: подчеркивается специфически книжная принадлежность этого лексического слоя, в который входят, правда, и слова «обветшалые», но они попросту «отсюда выключаются», ибо дело не в них. Главное заключается в том, что именно лексикой этого слоя, как поясняется в дальнейшем, «преимуществовает российский язык перед многими нынешними европейскими, пользуясь языком славенским из книг церковных»: в этом и состоит пафос работы, отраженный в ее заглавии.

Но как кодифицировать эту лексику в новом литературном языке на национальной основе? Тем более, что с нею в структуре нового литературного языка соседствует отнюдь не книжная лексика еще одного генетического слоя:

3) слова, которых нет «в остатках славенского языка» и которые, не имея книжно-литературных традиций употребления, зачастую оказываются несовместимыми с книжно-славянскими.

Именно в этой ситуации и появляется концепция «трех штилей», историко-лингвистическая задача которой — создать условия для постепенной нормализации словоупотребления в новом литературном языке, перешедшем на уровне замкнутых систем на национальную «основу», но на лексическом уровне далеко еще не упорядоченном.

В плане собственно стилистическом концепция «трех штилей» хорошо известна филологам-русистам: она закрепляет выделенные слои лексики за определенными жанрами письменного творчества — не только художественно-литературного, коль скоро упомянуты и «прозаические речи о важных материях», и «описания дел достопамятных и учений благородных», и «дружеские письма, описание обыкновенных дел» [см. 10, с. 589]. Однако в плане истории литературного языка это закрепление — лишь прием, способ решения более важной собственно лингвистической задачи, связанной с проблемой органического совмещения в границах единого литературного языка генетически неоднородных слоев лексики. Рассматриваемая с этих позиций, концепция М. В. Ломоносова констатирует: если вы сочиняете нечто экстраординарное — хвалебную оду, героическую поэму или трактат о «важных материях», вы будете использовать традиционную книжную лексику — генетически общеславянскую и церковнославянскую. Лексика эта неуместна в дружеских письмах, эпиграммах и комедиях, использующих «речения» народно-разговорные, включая, разумеется, и общеславянские слова, в равной степени свойственные и русскому языку.

А как быть в остальных случаях — в лирической (не официальной) поэзии, в драматургии, в повествовательной и исторической литературе, где касаться приходится «материй» самых разнообразных? Здесь оказывается, можно употреблять все, что необходимо для выражения излагаемого автором содержания: и книжную, и разговорную лексику! Это и есть средний (по отношению к прочим) «штиль», строго говоря — совсем и не стиль, а широкий круг жанров, обслуживаемых (на замкнутых уровнях) системой нового литературного языка на национальной основе, который на лексическом уровне «состоять должен из речений, больше в российском языке употребительных, куда можно принять некоторые речения славенские, в высоком штиле употребительные, однако с великою осторожностью, чтобы слог не казался надутым. Равным образом употребить в нем можно низкие слова, однако остерегаться, чтобы не опуститься в подлость. И, словом, в сем штиле должно наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда речение славенское положено будет подле российского простонародного» [10, с. 589]. Поистине универсальный «средний штиль», о «неопределенности границ» которого так много написано интерпретаторами концепции М. В. Ломоносова, по замыслу нашего великого нормализатора, как видим, вводится в качестве своего рода «лексического фильтра», пропускающего через себя из «высокого» и «низкого» стилей разнородную по происхождению (по своим источникам) лексику, которая и должна здесь постепенно сложиться в нечто органически целое.

«Средний штиль», таким образом,— это одно из проявлений гениальности М. В. Ломоносова, понимавшего, что нормализация лексики нового литературного языка требует длительного отбора, ибо здесь невозможна ориентация на «общее употребление», как в фонетике (орфоэпии) и грамматике. Выделяемый с этой целью «средний штиль» — это своего рода «лаборатория лексической нормализации», которая должна функционировать до тех пор, пока она не выработает оптимальных рекомендаций.

В заключительной части «Предисловия о пользе книг церковных в российском языке» автор, еще раз призывая читателей быть бережливым в отношении церковнославянского лексического наследия, являющегося историческим национальным достоянием россиян, четко характеризует свою концепцию трех «штилей» именно как метод отбора лексики из генетически неоднородных слоев: «Таким старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славянского языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то еще чрез латинский. Оные неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственно красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Сие все показанным способом пресеется, и российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится. . .» [10, с. 591; разрядка наша.— Х. Г].

Намеченная М. В. Ломоносовым программа лексической нормализации оказалась настолько эффективной, что уже в творчестве зрелого Пушкина, т. е. спустя чуть более полувека, по существу завершается слияние разнородных генетических слоев лексики в единое целое, в котором, в частности, снимается и проблема «славянизмов» как особой стилистической категории [см. 14, в частности с. 182]. Церковнославянские слова с конкретным значением, имеющие эквиваленты в разговорной русской речи (типа *брег* — *берег*, *младой* — *молодой*, *очи* — *глаза* и под.), оттесняются на периферию литературного языка, становясь исключительной принадлежностью поэтической (стихотворной) речи, в то время как остальные оказываются неотъемлемой частью книжной лексики литературного языка, в составе которой они уже не воспринимаются как «славянизмы» [см. 14, с. 134—151].

ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв. М., 1938.
2. Бабкин Д. С. Русская риторика начала XVII в.— ТОДРЛ, 1951, т. VIII, с. 326—353.
3. Виноградов В. В. Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978.
4. Ларин Б. А. Лекции по истории русского литературного языка (X—середина XVIII в.). М., 1975, с. 307.
5. Вомперский В. П. Риторика XVII — начала XVIII в. и их роль в описании процессов развития русского литературного языка и русской литературы.— ФН, 1978, № 5, с. 40.
6. Горшков А. И. История русского литературного языка. М., 1969.
7. Хабургаев Г. А. Становление русского языка. М., 1980, с. 6—7.
8. Вомперский В. П. Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех штилей. М., [1971].
9. Хабургаев Г. А. Русский язык.— В кн.: Очерки русской культуры XVII века. Ч. 2, М., 1979.
10. Ломоносов М. В. Полн. собр. соч. Т. VII. Труды по филологии. 1739—1758 гг. М.—Л., 1952.
11. Успенский Б. А. Первая русская грамматика на родном языке. Доломоносовский период отечественной русистики. М., 1975.
12. Хабургаев Г. А., Рюмина О. Л. Глагольные формы в языке художественной литературы Московской Руси XVII века (К вопросу о понятии «литературности» в предпетровскую эпоху).— ФН, 1971, № 4, с. 65—66.
13. Львов А. С. Изучение праславянского слоя старославянской лексики.— В кн.: Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии: Тезисы конференции. Вып. 1. Славянская историческая лексикология (книжная и народная лексика в истории славянских литературных языков). М., 1975, с. 31—32.
14. Лексика русского литературного языка XIX — начала XX века. М., 1981.